

Вѣрность Россіи

Какой-то французскій государственный дѣятель, — если не ошибаюсь, при Наполеонѣ III, — воскликнулъ однажды въ заключеніе программной рѣчи:

— Есть, господа, идеи вѣрныя и есть идеи ложныя... Я — за вѣрныя!

Это одно изъ самыхъ забавныхъ замѣчаній, какія можно себѣ представить, одно изъ самыхъ пустыхъ и бессмысленно-звонкихъ. Будто ктонибудь сознаетъ, что онъ за ложныя идеи? Будто не всякому кажется, что онъ за истину?

Надписавъ въ заголовкѣ «вѣрность Россіи», я усомнился, не попадаю ли въ положеніе того оратора. Не о чемъ говорить, на первый взглядъ: ну да, конечно, вѣрность... Всѣ за вѣрность. За измѣну — никто. Никто не скажетъ: я хочу Россію предать. Къ общему удовольствію и при взаимномъ демонстрированіи хорошихъ чувствъ бесѣда обрывается, едва успѣвъ возникнуть. Совѣсть спокойна, умъ — тоже.

Но убаюканы они только словами. Или, можетъ быть, точнѣе: не словами, а словомъ, именемъ... Подчеркиваю это потому, что разногласіе насчетъ сущности понятія «вѣрность» возможно лишь при желаніи запутать споръ, или при томъ настроеніи, о которомъ разсказано въ извѣстной баснѣ Хемницера о метафизикѣ, ямѣ и веревкѣ. Что есть веревка? Отчего не спросить также, что есть вѣрность? Можно, добавлю, придумать столько хитрыхъ и формально-неуязвимыхъ, попутныхъ вопросиковъ и возраженій, что всякій будетъ сбивать съ толку. Но споръ останется безсодержательнымъ и риторическимъ. Вѣрность: конечно, паспортъ и все такое въ этой «паспортной» плоскости — не при чемъ. Важно сознаніе, что очутившись за границей, русскій человѣкъ не только спасаетъ, оберегаетъ, духовно обогащаетъ или развлекаетъ себя, сколько несетъ тяжесть свободнаго, исторически-неизбѣжнаго выбора;

важно сознание, что во всѣхъ условіяхъ необходимъ «выходъ» въ міръ и участіе въ немъ; и самое, можетъ быть, важное, это чувствовать, что выходъ и участіе для насъ возможны только черезъ Россію. Вѣрность ей — это наше съ ней единство, наша съ ней нераадучность. Форму и видъ каждый найдетъ самъ.

Но Россія... Что такое Россія? О чемъ мы думаемъ, называя ее, вспоминая ее? Вопросъ настолько простъ, что почти никогда не приходитъ въ голову. А когда придетъ, надолго останется безъ разрѣшенія.

Государство? Да, и государство, конечно. Этотъ отвѣтъ слѣдуетъ упомянуть, потому что онъ первый, самый поверхностный: это скорлупа, которую надо снять. Да, кстати, наша государственная связь съ Россіей оборвалась уже давно, и по этой линіи намъ служить ей сейчасъ почти невозможно. Даже больше: это единственная линія, удаляющая насъ отъ родины. Хотя и на это удаленіе — даже и на это — нужно бы рѣшиться съ крайней осмотрительностью, поставивъ и ему предѣлы, ибо слишкомъ ужъ лицезрѣнь и удобенъ безболѣзненный разрывъ между отвлеченной преданностью и предательствомъ на дѣлѣ. «Мы не за эту Россію, мы за другую, за ту, которая встанетъ...» За какую? За всякую, лишь бы встала? Тутъ все — туманъ, самообольщеніе, игра въ прятки... Лучше ужъ договорить: «мы за самихъ себя; мы отрекаемся, мы уходимъ; эту, теперешнюю, мы ненавидимъ и желаемъ ей гибели; а другую... въ другую тоже взглянемся сначала, подойдетъ ли она намъ». По крайней мѣрѣ, все ясно. Однако, по правиламъ честной игры, надо и противной сторонѣ предоставить право взглядѣться: подойдетъ ли мы ей? Результатъ можетъ получиться неожиданный.

Но государство обязываетъ, а не влечетъ. Съ нимъ у насъ счеты, не болѣе того: его права, наши обязанности, — и только. Чувство еще мало затронуто, — если не считать отдѣльныхъ случаевъ той упорной, романтически-рипарской привязанности, съ которой нѣкоторые старѣющіе, одинокіе русскіе люди вспоминаютъ теперь объ исчезнувшей имперіи (все идеализируя, все приподнимая надъ критикой, безответно, безнадежно, и даже въ прошломъ, правду сказать, безъ-взаимно: сплошное чудачество, не лишенное, конечно, благородства и стила, «allure»; но хоть это, — хоть стиль; о корыстныхъ же сожалѣніяхъ, съ жадной отомстить, «прописать», «показать всѣмъ этимъ...» — не стоитъ и говорить). Чувство уходитъ за «скорлупу»: тамъ — культура, назначеніе, дѣло нации.

Споры, возникшіе сто лѣтъ тому назадъ, продолжаютъ и

пониѣ. Ихъ разрѣшеніе было обманчиво, оно держалось лишь потому, что въ концѣ девятнадцатаго вѣка, при тогдашней «глиши да глади», могло держаться что угодно, а какъ подули первые вѣтры, такъ облачко и разсѣялось... Каждое построение сейчасъ будто и опровергается жизнью, и поддерживается ею. Неославнофильству и нео-западничеству — приволье: доля правды, въ нихъ заключенная, освобождена отъ всѣхъ наслоеній и можетъ быть снова положена въ основу историческихъ толкованій того, что съ Россіей случилось. И да, и нѣтъ. Или: ни да, ни нѣтъ... Но и это — все еще область мозговыхъ, головныхъ выкладокъ, не затрагивающихъ совѣсть. А между тѣмъ, кажется, въ нашихъ помыслахъ о Россіи именно совѣсть есть начало, источникъ, возбудитель. Каждый самъ себя судитъ: умъ — только адвокатъ или прокуроръ, но права рѣшенія и приговора у него нѣтъ.

Умъ долженъ найти слова, и опять возвращается къ вопросу: что такое Россія? Договаривая дальше — въ чемъ ея прелесть, въ чемъ ея влекущая сила, или, какъ выражался Гоголь, великій знатокъ этого дѣла, ея «сладость»? Надъ схемами, надъ славянофильствомъ и западничествомъ, надъ Петромъ и азіатчиной, — въ чемъ? Что сладость дѣйствительно есть, что она такая, какой другой не найти, единственная, «сладчайшая» — это мы чувствуемъ и знаемъ по истинѣ «всѣмъ существомъ своимъ», особенно теперь, погулявъ по заграницамъ, вдоволь надышавшись Европой, ея чуднымъ, — о, да! — ея чистымъ, легкимъ, но суховатымъ воздухомъ. Да вѣдь не только мы, а и они, сами европейцы, это порой чувствуютъ,— правда, съ меньшей непосредственностью, почти исключительно сквозь литературу или искусство, но все-таки чувствуютъ: множество цитатъ можно было бы привести въ доказательство этого. Только европеецъ едва ли скажетъ «сладость», — онъ выразится какънибудь иначе, съ удивленіемъ «констатируя фактъ», безъ нашего ощущенія и нашего узнаванія (впрочемъ, недавно мнѣ попалась у тончайше-проницательнаго, какъ бы насквозь свѣтлагого Жакъ Ривьера, въ концѣ одной изъ статей о музыкѣ, такое обращеніе, или вѣрнѣе, такая «молитва» къ Россіи, что у русскаго она даже вызываетъ неловкость, будто: «да, да, пожалуй, можетъ быть... только объ этомъ не надо говорить»). Но во всякомъ случаѣ отпадаетъ объясненіе, по которому это просто — чувство родины. Объясненіе, приемлемое на первый взглядъ, ничего не объясняетъ, даже если подкрѣпить его соображеніемъ, что образъ родины теремой, исчезающей — острѣе воспринимается, и естественно окутывается всяче-

скими дыжками. Нѣтъ тутъ не просто — земля, страна, среда, вспоминаемая нами изъ «прекраснаго далека», тутъ что-то другое.

Увѣренность въ этомъ намъ льститъ. Она подталкиваетъ насъ къ самодовольству, къ самоупоенію, — а русскаго человѣка хлѣбомъ не корми, только позволь ему потолковать о томъ, какой онъ удивительный. Какъ уже было однажды замѣчено, мы вообще не прочь отнести къ типическимъ особенностямъ нашего національнаго характера лучшія человѣческія черты. Это повелось еще изъ стари, — а теперь отъ диллетантскаго фило-софствованія прошлаго вѣка докатилось до эмигрантски-обывательскаго судачества, и здѣсь распустилось такимъ нестерпимо-пышнымъ цвѣтомъ, какого никогда еще не было: будто бы мы и уміе всѣхъ другихъ, и сердечнѣе, и шире, и порывистѣе, и безкорыстѣе, а ужъ о необыкновенныхъ нашихъ талантахъ и говорить нечего. Психологически тутъ все понятно. По-натурпѣвшись всякихъ униженій и разочарованій, сознаніе стремится отыграться хотя бы въ теоріи... Но убѣдительность отъ этого не увеличивается.

Уміе другихъ... Проводить общія параллели такого рода — дѣло всегда рискованное, но если ужъ провести, то эта «умственная» параллель едва ли будетъ къ нашей выгодѣ. Внутренно, въ той почти еще безсловесной, сырой области, гдѣ мысль переплетается съ ощущеніями, — можетъ быть и да, кто знаетъ? Внешне, на словахъ — сомнительно. Особенно, по сравненію съ французами, будь то въ отвлеченныхъ спорахъ, въ литературныхъ сопоставленіяхъ или даже въ случайной, повседневнои бесѣдѣ о случайныхъ вещахъ. Отчетливо-ясное впечатлѣніе, сразу: нашъ головной аппаратъ хуже устроенъ, онъ работаетъ съ болѣе частыми перебойми, отстаетъ въ точности и быстротѣ... Интересно было бы сравнить — въ отдѣльномъ изслѣдованіи, разумеется, — два языка, русскій и французскій. Въ такой работѣ было бы, вѣроятно, найдено объясненіе тому смутному, но постоянному чувству, что французская рѣчь, благодаря болѣе развитой, болѣе законченной синтаксической структурѣ своей, заставляетъ даже и русскаго человѣка мыслить чище, едва только онъ прибѣгаетъ къ ней. Будто иной инструментъ взятъ въ руки, тщательнѣе отшлифованный, искуснѣе обточенный, — и сознаніе, привыкшее огрубѣть и лѣниться, сначала капризно-пенебрежительно, свысока посяматриваетъ на всѣ эти сухія, крѣпкія, блестяшія, на диво сработанные винтики и колесики, а потомъ невольнo увлекается ихъ гармонической, мельчайшей игрой... Но это особая тема, кото-

рая уволить въ сторону. Добрѣе, сердечнѣе? Послѣ революціонной практикой», осторожнѣе помолчать насчетъ нашего природнаго, врожденнаго мягкосердечья. Ну а живья и щедрья души, будто отъ рожденія раненья, готовы на жертву, вѣчно куда-то рвущіяся, вѣчно изнемогающія отъ боли, такія души есть всюду, и нелѣпо было бы считать ихъ нашей монополіей. Шире, отзывчивѣе? Несомнѣнно только то, что мы своей склонности ко всякимъ взлетамъ или паденіямъ охотнѣе потворствуемъ: въ насъ меньше дисциплины и выдержки, мы менѣе «общественны» — въ томъ смыслѣ, что съ непривычкой для западнаго человѣка легкостью навязываемъ другъ другу наши личныя, внутреннія дѣла. Даже пресловутое «безпокойство», которымъ мы до сихъ поръ еще не прочь кичиться передъ Европой, будто это наше исключительное достояніе, та безотчетная тревога, которую послѣ Толстого и Достоевскаго мы считаемъ своимъ наслѣдіемъ, — есть на дѣлѣ общая особенность эпохи, черта и результатъ культуры въ глубокомъ духовномъ переломѣ. Оставимъ Толстого съ Достоевскимъ, людей слишкомъ вѣщихъ, чтобы съ ними намъ панибратствовать, и все индивидуально-иное безъ колебаній переводить на нашъ счетъ; поглядимъ лучше на то, что дѣлается вокругъ, — у насъ, въ нашей литературѣ и тамъ, въ литературѣ европейской. Пожалуй, у насъ то какъ разъ и царитъ безмятежность, разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ. По невѣжеству и неосвѣдленности нѣкоторые продолжаютъ толковать о французахъ, будто бы они всѣ, поголовно, были еще тѣ, старые знакомые, «изъ Бордо», салонные остроловы, неисправимые вольтеріанцы. — и удивляются, сталкиваясь съ реальностью: съ мучительными усиліями сохранить образъ человѣческой послѣ исчезновенія понятія о Богѣ, съ борьбой за строй и достоинство жизни, и тутъ же — съ попытками все взорвать, чтобы камня на камнѣ не осталось и можно было бы неудавшійся, обанкротившійся міръ замѣнить хоть въ мечтахъ другимъ. Французики «изъ Бордо» переведись, или оттѣснены на второй планъ. И ужъ если вспомнить Достоевскаго и Толстого, то надо признать, что ихъ духовный опытъ постигнуть и оцѣнить западомъ никакъ не менѣе остро, чѣмъ нами. Оттого то они и были міровыми явленіями, что это оказалось возможно.

И все-таки, съ убожествомъ своимъ, съ бахвальствомъ, съ претензіями и захолустьемъ Россія остается Россіей: тонъ ея, звукъ ея незабываемъ... И все-таки Западъ намъ не по вкусу. Какъ объяснить, почему? Нѣтъ почти ни одной области, гдѣ

послѣ безпристрастнаго размышленія наше предполагаемое превосходство не было бы поколеблено. Въ исторіи, въ многовѣковыхъ «высокихъ зрѣлищахъ» ея можетъ быть сильнѣе всего: Чаадаевъ правъ до сихъ поръ. Но воздухъ въ Россіи иной и почва иная. Чуть-чуть больше влаги. Впрочемъ, не стоитъ подбирать распливчатые образы и сравненія: всѣ слова тутъ все равно — мимо.

Есть въ русскомъ обликѣ одна, всѣмъ знакомая, черта, о которой промолчать нельзя. Это — стремленіе куда-то уйти, вѣчные споры въ странствіе, отрицаніе устройства и благополучія. Или, можетъ быть, не отрицаніе, а мягче, уступчивѣе: усмѣшка, «съ изгибомъ горечи у рта»... Если вообще культура складывается изъ «тяги къ землѣ и порываній въ небо», — по Гете, — или, иначе, изъ чувства жизни и ощущенія смерти, то можно сказать, что въ Россію попала какая-то лишняя еле вѣсомая, еле замѣтная частица «смерти», не предусмотрѣнная въ нормальномъ расчетѣ. Оттого какъ бы отражена, и все то, на чемъ нѣтъ хотя бы только отблеска конца, ей скучно и постыло. Ее не интересуетъ созиданіе, поскольку оно въ себѣ ограничено, ее удивляетъ, какъ можетъ оно съ такой силой увлекать другихъ, и столько страстей возбуждать. Она нетерпѣлива, ее тянетъ къ «последнимъ вещамъ», сразу, безъ проволочки, которая для нея все равно «ни къ чему», какъ бы богаты содержаніемъ ни были. Она можетъ бить и строить домъ. Но въ домѣ этомъ для нея важны только окна и двери.

Ошибаемся ли мы, утверждая, что такова же и русская природа? Конечно, это возможно, и даже вѣроятно. «Объективныхъ данныхъ» такого рода въ нашей пейзажѣ, пожалуй, нѣтъ. Но не случайно же все-таки тютчевскія строки объ «этихъ бѣдныхъ селеньяхъ» были поняты сразу, съ полуслова: такой мы и теперь иногда вспоминаемъ Россію, чувствуя въ образѣ и характеристикѣ то созвучье, то согласие, которое не можетъ обмануть. Или вотъ Достоевскій бѣгло коснулся русской природы: нѣсколько словъ всего, о заходѣ солнца, въ началѣ «Бѣсовъ», въ бесѣдѣ сумасшедшей жены Ставрогина съ Шатовымъ... Но какой отзвукъ! Эти нѣсколько словъ до того глубоко, правдивы и какъ-то пронзительно-музыкальны, что «сочинить» ихъ, кажется, было нельзя: они найлены, они внушены реальностью и оттого-то упрямая, глухая, нѣмая стихія и откликается имъ въ отвѣтъ, какъ въ древнемъ сказаніи... Мимолетомъ: Россія вообще прекрасна только въ минорѣ. Русскій мажоръ большей частью невыносимъ, и переходъ отъ такихъ вы-

соть и очарованій къ такой грубости вызываетъ смятеніе и растерянность. Русскія утвержденія на всемъ протяженіи прошлаго вѣка вплоть до революціи ужасны въ торжествующей звѣроподобности своей. Отъ нихъ мутитъ и до сихъ поръ. Ужасенъ былъ русский самоувѣренный и ограниченный націонализмъ. Ужасны всѣ попытки «положительнаго», «здороваго» творчества, все вообще, — кромѣ Пушкина.

Кстати, загадочная предель, непоколебимая «единственность» Пушкина, — по глубокому моему убѣжденію выходящая за предѣлы его чисто-литературнаго значенія, не вполнѣ объясняемая имъ во всякомъ случаѣ, — повидимому въ томъ, что только онъ показалъ Россіи, чѣмъ она могла бы стать... Показалъ — и исчезъ. Пушкинъ исправилъ русскій рецептъ, сбалансировалъ дозу жизни и дозу смерти, и далъ сразу результатъ, безъ черновика. Оттого у Пушкина ничему, въ сущности, нельзя научиться: ему можно только удивляться. У него человѣкъ уже не дубина, еще не развалина. У него міръ ничѣмъ еще не «подернутъ», у него «здѣсь» звучитъ такъ же полноправно, какъ «тамъ»; «теперь» — какъ «когда-нибудь»... Но всякое подражаніе ему бесплодно и сбивается сразу на «дубинность», по невозможности возстановить тотъ же внутренний механизмъ и неизбежному передергиванію. Зато размышленія о Пушкинѣ — дѣло вѣчное, и едва ли не каждый русскій писатель дѣлаетъ мечту сказать, хоть на старости лѣтъ, о немъ нѣчто свое, выятное, отвѣтственное: этимъ онъ опредѣляетъ себя, свою связь съ Россіей и свое творческое отношеніе къ ней.

Въ наши дни родилось стремленіе соединить и сблизить Пушкина съ православіемъ. Операция проходитъ почти безболѣзненно; поскольку надъ Пушкинымъ, по уклонности его, удаются вообще всякія упражненія. Да, можетъ быть, и на самомъ дѣлѣ православіе, въ его бѣлой, бытовой, благостно-патрархальной, чуть-чуть просвиричьей окраскѣ Пушкину сродни, какъ вообще все крѣпко-русское. Но навѣрно ему чуждъ узкій, темный, испепеляющій лучъ христіанства, тотъ, который никакихъ сосѣдствъ и компромиссовъ въ пораженной имъ душѣ не допускаетъ... И вотъ возникаетъ вопросъ: не оттого ли Россія въ тѣхъ, иныхъ своихъ порывахъ такъ одиночно-духовна и какъ бы противожизненна, что этотъ безопасный лучъ въ нашу культуру вошелъ прямѣе и свободнѣе, чѣмъ гдѣ-либо на западѣ? Это очень большая тема, которой опасно вскользь касаться. Но кое-что несомнѣнно: нельзя отрицать того, что въ исторіи Россіи православіе сыграло первостепен-

ную роль; нельзя не чувствовать, не понимать, не видѣть и то-го, что въ православіи непосильно-высокая, сіяющая, страшная въ своей волѣ къ освобожденію сущность христіанства осталась, какъ была, почти ничѣмъ не прикрытой. Не въ аскетизмѣ дѣло. Аскетизмъ былъ и въ Европѣ, при чемъ такой, какого намъ, пожалуй, и не снилось. Но католичество дало міру устои и организцію, оно «спасло міръ», принявъ Имя, которому этотъ міръ ужаснулся — и какъ бы тепершніе наши мыслители ни упрекали Достоевскаго въ схематизмъ и даже невѣжествѣ по отношенію къ западной церкви, основную ея черту онъ постигъ вѣрно (на другомъ идейномъ полюсѣ, Ницше, слушающая когда-то вступленіе къ «Тангейзеру» — «самую католическую музыку въ мірѣ» — задумчиво сказала: «какъ хорошо! Камень за камнемъ, послѣ землетрясенія, послѣ Креста... все выше и выше, чтобы совсѣмъ все закрыть!»). Православіе не рѣшилось прикрывать, затушевывать, усложнять Евангеліе, оно не догадалось во время перенести тяжесть съ дѣла ученія на дѣло спасенія, оно само замерло, насторожась и вслушиваясь. Митрополиты и архіереи пытались иногда, предъ лицомъ «государственной необходимости», наскоро сочинять то же, что когда-то тамъ, въ Европѣ, съ содроганіемъ и страстью, въ великомъ, непримѣрномъ вдохновеніи создали наслѣдники Рима. Но спорить было трудно. Книга уже всюду проникла. Единственное, что было еще возможно, это одѣть ее въ золото и драгоценные камни — символъ благоустройства, величія и порядка: будто она со всѣмъ этимъ во внутреннемъ согласіи. Но было поздно. По Тютчеву, «въ рабскомъ видѣ Царь Небесный» исходилъ всю Россію.

Не знаю, въ какой степени, въ какихъ предѣлахъ на вопросъ о связи христіанства съ духовнымъ обликомъ нашей страны слѣдуетъ отвѣтить именно такъ. Не рѣшаюсь утверждать эту связь во всей ея полнотѣ. Но думаю, что было бы во всякомъ случаѣ неправильно ограничивать тему разборомъ настроеній однихъ только религіозныхъ людей. Тема глубже и шире. Въ исторіи Россіи это есть прежде всего тема о русской интеллигенціи, съ ея классическими чертами вѣчнаго неподолства, непосѣдливости, безкорыстія... Скажутъ, что интеллигенція въ огромномъ большинствѣ была атеистична, или по крайней мѣрѣ анти-церковна, и что ея особенности гораздо естественнѣе и логичнѣе объясняются социальнымъ ея происхожденіемъ, нежели проблематическими вліяніями православія. Да, конечно. Но позволю себѣ предложить вопросъ: увѣренъ ли возражающій, что въ средѣ, воспитанной католичествомъ, въ сре-

дѣ, прошедшей черезъ католичество, хотя бы на нѣсколько столѣтій ранѣе, такая интеллигенція могла народиться? Одно съ другимъ какъ-то плохо вяжется. И кстати, не потому ли теперь вчерашніе бомбометатели такъ легко переходятъ въ «лоно» русской церкви, что переходъ не такъ ужъ и далекъ? (особенно для молодежи: иногда, случается, смотришь — лицо, глаза, косы, движенія, голосъ, — ну конечно, двадцать лѣтъ тому назадъ эта дѣвочка была бы «эсеркой», а теперь она ставитъ свѣчи, кладетъ поклоны, и это для нея почти то же самое, — психологически, а не объективно, разумѣется). И тамъ, и здѣсь мораль жертвенна. И тамъ, и здѣсь постройка неустойчива, нарочито-недолговѣчна... Интеллигенція любила Россію чуть-чуть отвлеченно, быть можетъ, но искренно и безъ измѣнъ. Однако она и расшатывала Россію, не задумываясь, что будетъ послѣ, — а если бы и знала, что будетъ, вѣроятно не стала бы иной: «*fais ce que dois, advienne que pourra*», по толстовскому любимому правилу (удивительная запись въ тюремномъ дневникѣ Шингарева, за нѣсколько дней до смерти: «мнѣ холодно, мнѣ страшно... а все-таки, даже и теперь, если бы можно было вернуться въ прошлое и мнѣ бы сказали: ну, что же, начнемъ революцію?, все-таки я бы отвѣтилъ: ну, что же, начнемъ» — цитирую по памяти, приблизительно). Интеллигенція принимала вызовъ. Когда полвѣка тому назадъ охотничьи лавочки съ инстинктивнымъ, самозабвеннымъ ожесточеніемъ избивали студентовъ подъ звуки національнаго гимна, это вѣроятно было что-то отдаленно похожее на римскія арены съ толпой, безотчетно жаждущей защиты и мщенія.

Но вотъ — все измѣнилось. До сихъ поръ рѣчь была о прошломъ, конечно, и лишь условно въ этихъ строкахъ глаголы спрягались иногда въ настоящемъ времени... «Не узнаю тебя, Россія», хочется сказать сейчасъ.

Не узнаю почти ни въ чемъ, хотя по склонности къ самообману повторяю сомнительно-прописныя слова, будто «человѣкъ переродиться не можетъ», «тысячелѣтній укладъ возьметъ свое», «природныя свойства души неискоренимы», и такъ далѣе, и такъ далѣе. Не узнаю прежде всего — въ цѣпкой жизненной силѣ, въ новыхъ стремленіяхъ, въ бодрости, въ самомъ «строительствѣ»; не узнаю — въ исчезновеніи музыки, въ дневномъ, прозаическомъ, дѣловомъ свѣтѣ, въ разсѣяніи былыхъ ожиданій и надеждъ; въ согласіи на товарищество, но безъ всякихъ жертвъ; въ расчетахъ на длительное обзаведеніе; въ безоговорочномъ принятіи труда, наконецъ, — какъ средства и какъ пѣли... Если бы не это, если бы не трудъ, можно было бы

подумать, что духовные потомки охотнорядцев довершаютъ подъ флагомъ коммунизма завѣтное дѣло отцовъ, изгоняють «заразу», прижигаютъ ее каленымъ желѣзомъ. Недаромъ же, для вящаго сходства съ аренами, они сочетали въ своей ненависти интеллигенцію и христіанство воедино, и принялись оба эти начала искоренять, какъ одинаково себѣ враждебныя: какъ что-то мѣшающее жить, напрасно смущающее, опасное, если его не добить. И они добиваютъ — усердно и методически. И можетъ быть — добьютъ. Образа народъ сжегъ, смутьяновъ побилъ, и принялся за дѣло: ну, тѣ торговали, икали, пѣли «Боже, царя храни», а эти социалистически соревнуются и распѣваютъ «Интернаціональ», — разница по существу не очень велика... Была бы не очень велика, если бы не трудъ.

Но отбѣнокъ измѣняетъ всю окраску... О, конечно, эта новая Россія намъ «не нравится». Конечно, мы ищемъ доказательства, что это лишь навожденіе, официально-лживое марево, а на дѣлѣ она совсѣмъ иная, притаившаяся, испуганная, измученная, по-прежнему «святая». Но и сквозь доказательства — которыя доказываютъ только то, что исторія сплетается и расплетается клубкомъ, съ противорѣчьями, съ отступленіями и отбоями, а никакъ не по чьей-нибудь точной и тираннической диспозиціи, — пробивается правда. И вотъ, правда эта намъ не вполне по душѣ (даже если не касаться методовъ, — даже только въ заданіи, въ замыслѣ). Я выбираю умышленно слова уклончивыя, по инстинктивному опасенію сразу сказать больше, чѣмъ надо и можно въ такомъ дѣлѣ, — но хотѣлъ бы все-таки подчеркнуть отсутствіе въ выраженіи «нравиться» чего-либо безразлично-эстетическаго. Нѣтъ, не то. Но удивляетъ, во всякомъ случаѣ: какъ могло это измѣненіе произойти? После оставшагося въ сердцѣ отзвука «сладости», — это? Сравненіе слишкомъ невыгодно. Фабрика, баракъ, казарма... не считалась ли Россія?

Но нельзя довѣрять только ощущенію. Иногда является мысль: не получаетъ ли во всемъ томъ, что произошло у насъ въ послѣднія десятилѣтія, русское западничество новое обоснованіе, — въ томъ смыслѣ, что надъ всяческой дикостью, пугачевщиной и стенько-разиновщиной нашей революціи, не исполняется ли, не испытывается ли въ Россіи старая, западная безбрежная мечта о царствѣ труда? Кресту противостоитъ въ послѣднемъ счетѣ не золото: кресту противостоитъ трудъ, — такъ какъ именно трудъ заносчивъ, властолюбивъ и требователенъ, какъ никто въ мірѣ. Характерно же все-таки, что впервые за всю нашу исторію Ев-

ропа смотреть сейчас на Россію съ какимъ-то кровнымъ, острымъ, тревожно-настороженнымъ вниманіемъ, которое за-мѣтно всюду. Нелѣпо все сводить къ праздно-растлѣнному любопытству снобическихъ салоновъ: это есть, — но есть и другое. Европа, въ сущности, никогда до сихъ поръ къ Россіи внимательна не была, Европа только «вздыхала» надъ Россіей, какъ вздыхаютъ надъ простачкомъ, который хотя и поетъ какія-то чудныя пѣсни, но дѣломъ не занимается. И въ работѣ своей, второпяхъ, — Европа шла мимо. А сейчасъ она вглядывается и вслушивается, будто — въ общемъ, въ общемъ, въ общемъ — тамъ свершается именно ея дѣло, но безбожное, нѣтъ, а равнодушно-божное, начатое много лѣтъ тому назадъ, блестящее въ протестантствѣ, прозвучавшее въ Возрожденіи и новой философіи, выношенное всѣмъ мудрствованіемъ восемнадцатаго вѣка, залившее кровью парижскія площади, и — дальше, — докатившееся до Москвы: утверженіе чело-вѣка, какъ хозяина. Европа, можно сказать, только объ этомъ и думала, колебалась и оглядываясь, а когда Россія съ чуть-чуть простецкой рѣшительностью — (кстати, Бисмаркъ: «социализмъ можно было бы попробовать... надо было бы только найти страну, которую не жаль») — бросилась впередъ, она, разумеется, «затаила дыханіе»: отчасти вѣдь это рѣшается и ея судьба.

Для другихъ, на другихъ, значить? Не совсѣмъ. Есть европейскія дѣла, которая по истинѣ можно назвать дѣломъ общимъ. Да кромѣ того, Россія вкладываетъ въ новую свою роль избытокъ силъ и, кажется, возвращается съ ней къ той «вольѣ къ жизни», которую раньше склонна была считать чѣмъ-то не совсѣмъ для себя подходящимъ и дозволеннымъ. Повторяю: по схеме въ исторіи ничего не совершается. Въ сплошномъ потоцѣ существованія схемы, цифры, имена — это только топчайшія линіи, намѣчающія направленіе. Разумеется, въ такомъ явленіи, какъ русская революція, есть — кромѣ основного устремленія — тысячи вѣтвей, корней, остановокъ, возвращеній, задержекъ, неожиданностей, срывовъ, отказовъ, — всѣхъ тѣхъ свойствъ вообще, безъ которыхъ не существуетъ бытія. Схематизировать надо, чтобы понять, — но понять можно только понимая, что схематизируешь. Въ частности, по вопросу, «для другихъ ли»? Россія, конечно, работаетъ для себя. Именно по сплетенію всѣхъ нитей оказалось возможнымъ, что на поверхности — надъ бездоннымъ океаномъ русскихъ, мѣстныхъ, безымянныхъ процессовъ, — ей досталась на разработку западная тема.

И вотъ, снова слова, съ котораго было начато: вѣрность. Положеніе трагично, человѣкъ безсознательно стремится къ тому, чтобы его сгладить, и уговариваетъ самъ себя, что «Россия — это мы», а отъ себя и нѣтъ возможности отречься, что Россія сейчасъ нѣтъ, а есть только живыи вымыселъ о ней, и такъ далѣе, и такъ далѣе... Но въ глубинѣ души человѣкъ чувствуетъ, что нужно рѣшеніе. Никогда, вѣроятно, ощущеніе необходимости окончательно пристать къ одному изъ двухъ береговъ не было такъ сильно какъ теперь.

Думаю, что людямъ церковно-религознымъ сдѣлать выборъ сравнительно легко, — хотя выборъ этотъ для нихъ ничуть не менѣе болѣзнененъ, чѣмъ для кого либо другого. Но у нихъ не можетъ быть колебаній. У нихъ есть цѣль, цѣнность, путь. Для нихъ дѣйствительно все въ мірѣ, рѣшительно все — «постолько посолько», даже и родина: иначе это скорѣе лирическое, національно-бытовое, слегка «фольклорное» умиленіе, нежели религозность. Къ теперешнему коммунизму они не могутъ отнестись иначе, какъ къ смертельному, послѣднему врагу: ибо для нихъ трудъ какъ бы лишень перспективъ, міръ построенъ, Хозяинъ есть. Для нихъ человѣческая гордость бессмысленна и безумна. Безуміе же всего центральная, можетъ быть, идея коммунизма — идея плана: въ глубинѣ и развитіи своемъ — прямой — логическій выводъ безбожія, идея творческой, «строительной» міровой инициативы, которую надо же кому-нибудь взять въ свои руки, если никакого архитектора нигдѣ нѣтъ.

Но не многимъ дана истинная вѣра. Трагедія съ ея убылью обостряется... У насъ часто упрекаютъ людей, которые ни на какую религозность не претендуютъ, въ «соглашательствѣ» съ совѣтской Россіей. Тѣ оправдываются. Если рѣчь идетъ о средствахъ и методахъ, имъ оправдаться не трудно. Но если о цѣли... Положа руку на сердце, можетъ ли человѣкъ, никакихъ метафизическихъ обѣщаній не знающій, ничего въ этомъ смыслѣ не ждущій, наполовину воспитанный Европой, помнящій ея уроки и ищущій отвѣтственности за свое участіе въ жизни, не почувствовать хотя бы на мигъ какого-то своего родства съ далекими надеждами коммунизма? И значить ли на минуту не дрогнуть въ сторону «соглашательства» (пустое, митинговое и злое слово, въ девяти случаяхъ изъ десяти доказывающее лишь ограниченность того, кто его произноситъ). Тутъ совсѣмъ не о прозелитизмѣ или радости рѣчь. Тутъ только — сознаніе того, что отъ огромнаго, труднаго, страшнаго — и при всей безопасности, глубоко-людскаго — дѣла нельзя «отмахнуться», про-

сто такъ, въ спокойной и самоувѣренной слѣпотѣ, какъ отъ пустяка, или преходящей, случайной мерзости!

Тѣмъ болѣе, что за этимъ пустякомъ сейчасъ — Россія. «Не отрекайся, пока ты живъ», по слову поэта. Но въ новой Россіи намъ почти все чуждо: осталось имя, то, что мы имъ называли — разсѣялось. А разсѣявшееся мы продолжаемъ любить, какъ лучшее, что въ жизни видѣли. Надо ли упорствовать на необходимости его возвращенія, хотя и безъ яснаго представленія, куда и къ чему это все приведетъ? Надо ли слова о жертвенности довести до послѣдняго воплощенія и пожертвовать собой и всѣмъ своимъ, помня, кстати, что по «нашему» же, глубочайшему завѣту, только тотъ и утверждаетъ себя, кто себя губить.

Я едва не написалъ въ заключеніе обычно-эффектную «подъ занавѣсъ» — фразу: Россія ждетъ отвѣта... Нѣтъ, неправда: она ничего не ждетъ. Не знаемъ, по крайней мѣрѣ, Россія — по Пушкину — «въ бореньяхъ силы напрягаетъ», ей не до того. Отвѣтъ нуженъ не столько для нея, сколько для насъ самихъ: чтобы намъ можно было жить.

Георгій Адамовичъ.